

Сергей САКАНСКИЙ

МРАЧНАЯ ИГРА

Ретро-роман



Исповедь
Создателя

Сергей Саканский

**Мрачная игра.
Исповедь Создателя**

«Автор»

2012

Саканский С. Ю.

Мрачная игра. Исповедь Создателя / С. Ю. Саканский —
«Автор», 2012

Роман увлекает читателя в недавнее прошлое, которое уже стало историей — в девяностые годы, затем еще дальше — в восьмидесятые, в самое начало времени перемен. Казалось бы — совсем еще близкие к нам события, но как же этот мир отличается от нашего, хотя бы тем, что тогда не было ни мобильных телефонов, ни интернета, и наш герой с большим трудом и риском решал такие задачи, которые сейчас ограничиваются простым нажатием клавиш. Рома Ганышев, несправедливо осужденный, возвращается домой. Он хочет найти того, кто предал его, начинает свое частное расследование, но постепенно втягивается в другие, фантастические и страшные события. Он узнает о гибели своей возлюбленной, но отправляется на ее поиски, не веря, что девушки уже нет в живых. На этом пути он будет сталкиваться с разными людьми, уходить от преследования и встречаться лицом к лицу с опасностью. Что-то странное происходит с миром, который он так хорошо знал. За восемь лет, пока его не было в Москве, город, конечно, изменился, Ганышев попал из советской эпохи в постперестроечную, из мира пустых прилавков, очередей, стабильности и скуки — в шумный оголтелый базар. Но, вместе с тем, произошло то, чего просто не может быть. Известные столичные памятники стоят на других местах, в дачном саду непонятным образом выросли новые деревья, и дальше, в Ялте, куда привели Ганышева его поиски, изменились даже очертания гор. Уж не сошел ли он с ума, не стал ли объектом какого-то непостижимого воздействия? Или же некая глобальная, всемирная катастрофа все же происходит на его глазах, и он — единственный человек на Земле, который видит эти чудовищные превращения?

© Саканский С. Ю., 2012

© Автор, 2012

Содержание

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ	7
КУКОЛ ДЕРГАЮТ ЗА НИТКИ	19
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Сергей Саканский

Мрачная игра

Исповедь Создателя

Ретро-роман

Ждать спокойно Его суда
ГУМИЛЕВ

Jai Guru Deva Om
LENNON

На обложке: памятник А. С. Пушкину в Москве, работы А. М. Опекушина.

Почему я все время пишу, хотя ясно, что ложь не станет правдой – оттого, что облегчишь ее в слово, и ничего не изменится в твоём мире – оттого, что ты это слово услышишь, пусть даже выучишь наизусть? Мне не даёт покоя этот единственный и неповторимый, совершенно фантастический образ, который мы все вместе создали; он, будучи плодом любви, ревности, игры и греха одновременно, стал, как Франкенштейн, твореньем не-Божьим, следовательно, адовым. Он, кажется, ожил во мне, и я схожу с ума, я галлюцинирую... Так, похоже, и появляется на свет то, что я пишу... Я начинаю верить, что он существует, движется, это чудовище, этот дьявол в ангельском облике, я вижу его словно какую-то стеклянную куклу в потоке дождя, шагающую мне навстречу, рядом со мною, во мне... Иногда мне снится, будто бы я прорастаю. Какие-то корешки, волокна шевелятся в моём теле, рвутся наружу, прорезая кожу... Бр-р! Со стороны, наверное, жуткое зрелище... Я никогда всерьёз не думала, что на самом деле увижу тебя: время, оставшееся до встречи, стремится к вечности; когда ты вернешься, я уже буду стара, или я буду далеко отсюда, где-нибудь в Африке, в Америке – сейчас многие уезжают в Америку – может быть, я буду избегать тебя, как избегают смотреть в зеркало, в надежде перехитрить время... Да, ты и есть моё единственное зеркало, в которое я смотрюсь, когда в очередной раз пишу тебе... И это какое-то безумие, какой-то неукротимый поток – вот сейчас, стоит лишь мне прерваться, подняться по листу вверх, чтобы проверить грамотность, знаки препинания, и я снова разорву все это в мелкие клочки, и буду рвать и рвать, складывая накрест, пока не сопротивляется бумага, а завтра я снова погружусь в эту мерзкую двойную жизнь, ты даже представить себе не можешь, как она ненавистна мне; единственный выход – немедленно заклеить конверт и послать его по адресу, где живет Тот, Кто Передаёт Письма, и впрочем, хорошо, что я на самом деле не знаю, где по-настоящему находишься ты – на севере, востоке, юге... Но милый мой? Ты всегда наверху, стоит только безоблачной ночью посмотреть в небо.

ИЗ ПИСЬМА

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

– В жопу, господа! Не пойти ли вам всем в жопу? Меня от вас просто рыгать тянет, факт! Так сказал Бог и вправду рыгнул через левое плечо, в сторону ублюдков, столпившихся в проходе.

- Куда-куда? – басовито переспросил один из них, предвкушая махево.
- В жопу, – тихо повторил я, выглядывая в их шалмане самую крупную особь.
- Рискуете, отцы, – заметила она, также пытаясь понизить тембр.
- Алик, дай папаше сникерзу, – предложил первый.

Не понимая значения слова, я все же прохавал общий смысл кипежа, и мне стало жаль молодых людей.

Прыщеватая бикса в несвежей униформе проводницы распахнула дверь, открыв утомленному взору быстротечный асфальт, впустив в тамбур внушительный глоток воли, ветра, сухого февральского снега. Поезд в последний раз дернулся, будто агонизируя, и стал. Мы с Богом спрыгнули на перрон.

– Вздрючим? – спросил Бог, глянув на ублюдков, которые были поглощены выгрузкой и, казалось, забыли о нас.

- Как скажут, – ответил я, и мы, взвалив свои чухи на плечи, пошли вдоль состава.

Их было четверо. Они ехали в соседнем купе и насмерть забарали нас – и этой своей незрелой басовитостью с обращением на «господа», и запахом неизвестного нам дезодоранта, отдающим бабьей раздевалкой, и заразительным хохотом, и – разумеется – музыкой.

- Эй, мужики! – послышалось сзади.

Мы оглянулись. Двое стремали шмотки, а двое, широко улыбаясь, медленно шли в нашу сторону.

- Хочешь сникерзу, дядя? – спросил один.
- Хочу, – сказал Бог и скинул свою чуху наземь.

Пока они пытались встать на копыта, двое других шмыднули им на выру. Я штеко будланул первого и, вытирая штробы о его ряху, боком увидел, как Бог курдючит другого.

- Эй, Коперник? – крикнул он мне. – Перекрой ему детородку.

Я взял своего за яйца и хорошенько крутнул, одновременно поставив ему моргушку свободной рукой. Я сделал это довольно нежно, так, чтобы тестикулы не лопнули, но все же он изрядно кайфанул.

- Пусть прочухают, как вязать с паханами, – сказал Бог.
- Редиски, – беззлобно заметил я.

Мы мирно двинули к подземному переходу, сопровождаемые немим восторгом перронной толпы. Люди любят, когда кому-то принародно дают тыквы.

- Слышь, Бог, – сказал я, – они нам сникерзу, в мы им тыквы.
- Это факт, – солидно подтвердил Бог, раскрыл хлебальник, желая что-то добавить, но не успел...

Они напали сверху, едва мы сошли на несколько ступенек. Их было трое: четвертый, с яйцами, ждал, облокотясь на перила. Как вскоре выяснилось, мы жухло облажали, не приняв его в расчет...

Удары, довольно толковые, шли со всех сторон. Первым выправил положение Бог, поскольку прошел более суровую школу, чем я. Он четко, отрывисто заправил моравчика крайнему, и тот выключился, съехав затылком по льду.

Похоже, что ублюдки немного знали боевые искусства: они приняли стойки и выглядели вполне уверенно, хотя и чуть смахивали на бройлерных кур. Бог тяжело вздохнул и достал пикало.

Сбитые блеском лезвия, враги на миг расслабились. Этого было достаточно, чтобы я выдал длинного кончиком штробы. Удар пришелся ровно в висок. Оставшись один, последний сделал рыску вдоль тоннеля, и мы с Богом хлопнули друг друга по плечам.

И тогда тот, с яйцами, начал стрелять...

Все это напоминало затянувшийся, многоступенчатый кошмар, или первые кадры какого-то дребаного кино. Мы полиняли, виляя, по тоннелю, краем глаза я увидел стрелка, он стоял, широко расставив ноги, держа пушку по-французски, на вытянутых руках. Одна пуля прошла низко над моей головой и я услышал ее дыхание.

Было понятно, что он не умеет пользоваться дорогой игрушкой, но огонь ведет на поражение, с явным желанием убить, будто бы то невинное, детское, что мы сделали, было достойно исключительной меры.

Бабий визг разразился эхом не менее громким, чем пальба. Несколько человек, бывших в тоннеле, бросились на пол, по кафелю покатались цитрусовые, какая-то дама, наверно, сглотив шальную пулю, с криком скорчилась у колонны, показывая свои розовые трусы.

Мы с Богом прошли стеклянные двери чуть ли не насквозь и через несколько секунд выбрались на воздух, в ночь, где, как ни в чем не бывало, двигались люди, грела мотор «Волга», и пьяный легавый беседовал с парой трупных курочек.

Мы быстро пошли прочь от вокзала, вдоль вереницы ларьков, пока не набрели на один открытый, полный каких-то немыслимых флаконов и столь же немыслимых нулей на бирюльках.

– Падлы, – сказал Бог, то ли вспоминая свежую шугу, то ли комментируя цены.

– А не смазать ли нам по случаю? – предложил я.

– Можно и смазать по хрюлочке, – охотно согласился Бог.

Мы взяли самую дешевую ханку, вроде той, что раньше была по три-шестьдесят-две, и устроились тут же, за ларьком. Я достал апельсин, весь липкий, покрытый крошками табака, а Бог – такого же качества и размера кусок сала, вставленный, как в футляр, в черствый полукирпич пшеничного черныша. Первая хрюлька не забрала, и мы тотчас ударили по второй.

– Похоже, мы тут приживемся, – сказал Бог, вытирая рот рукавом.

Мне захотелось блевать. Эта ханка была не чище Божьего технического спирта, которым он потчевал зону весь свой червонец. Бог-Из-Машины, таково было его полное имя, был таким же придурком, что и я, но кантовался в *машине*, то есть, в котельной. Это было хлебное, богатое место. Там водилась ханка в больших количествах, и он продавал ее нам, разливая в шланги. Бога любили все.

– Ну, что будешь делать до следующей ходки? – поинтересовался он, смачно разбив соплю оземь. Холод был такой, что слизь мгновенно схватилась.

– Ничего, – сказал я. – Лягу на дно.

– Хавать захочешь – всплывешь. А я – в водилы пойду. Как Гайто. Торчу от романтики: бабки, бабы, ночные дороги...

Я вспомнил осетина Гайто из третьего барака, таксиста, который сшиб малолетку и, дабы замести следы, добил его монтировкой. Мне снова захотелось блевать.

Когда булька опустела, Бог выжидающе посмотрел мне в глаза, безнадежным, таинственным взглядом алкоголика.

– Нет, – сказал я, сытно рыгнув апельсином и салом в знак несогласия. – Располземся по норам. Как говорится, семь футов под килем и черный «Мерседес» в облаках.

Бог навсегда уходил из моей жизни. Ему надо было на запад, мне – на восток.

Мы вышли на обочину Садового кольца. Первым тачку поймал Бог, как бы символизируя свой будущий путь, и, уже застекленный, свободной рукой сделал мне петушка. Я подумал, что больше никогда не увижу Бога-Из-Машины, понятия не имея, при каких странных,

чудовищных обстоятельствах встречу его в следующий раз, и каким причудливым образом он подтвердит свою кликуху.

Я долго смотрел вслед удалявшимся огням. Мне казалось, что это не он, а я навсегда уезжаю в зимнюю ночь. Впервые за много лет я остался совершенно один. Зона внезапно отвалила от меня, как бы насосавшись вполне моей крови.

* * *

Я вернулся в мой город, знакомый до тошноты, город, полный желтого, густого, как рыбий жир, воздуха, моих детских слез, живых мертвецов, телефонных номеров, адресов, где меня давно не ждали, но где знают, что я не могу не прийти.

Я – гость угрюмый, гость нежеланный.

Кровоподтек на моей скуле, уже начинающий чернеть, привлёк внимание таксиста. Он был молодой, веселый, любящий потрепаться, как Гайто. Таким обычно всегда хочется дать по морде.

– Как поедem – через Семеновскую или Сокольники?

– Через жопу, – сказал я, и мы тронулись.

Я не узнавал моего города: огромная кисть прошлась по его улицам, беспорядочно роняя краски – кровью налитые буквы вывесок, рыбы глаза фонарей – все это сливалось в какую-то пародийную мелодию, тухлую, словно вечерняя песнь парашаи.

Зона отпустила меня внезапно, как крепкая восточная дрянь, но тотчас другое чудовище, с множеством щупальцев и присосок почуяло свободную кровь.

Холодная ярость овладела мной, гулкая и до слез знакомая ярость, которая поселилась во мне в тот момент, когда я получил последнее письмо от матери, где она сообщала, что Марина вышла замуж.

Марина.

Машина несла меня уже по Преображенке, Гайто, вовремя посаженный, не приставал с разговорами, я в последний раз вспомнил о Боге и подумал, что вряд ли когда-либо у меня будут друзья.

Это было гадко, жестоко и совершенно нелогично, будто известная мне реальность где-то дала трещину. Марина, которая ждала меня восемь лет, писала письма, возвышенные и трагические, Марина с ее набожностью, девственностью, ночными молитвами и клятвами в вечной любви и верности, да за три месяца до моего... Нет, невозможно.

Я много думал, кем мог быть этот временный счастливчик, эта жертва грядущей мести, этот труп. Нувориш, соблазвивший ее, бесребреницу, сказочным богатством? Юноша, пленительный, как молодой Иисус? Курчавый аскал, умело подменивший близкий позыв собственной плоти на мистический зов родины? Или это был труп священника, вконец закрутившего ей мозги смирением, многоамностью, благочестием?

М-да. Мне вовсе не хотелось обратно на зону.

Я шел, чтобы судить и карать, благо, я имел достаточно опыта в этих делах. Мне надо было не столько разобраться с тем, кто сдал меня ментам (следователь тогда намекал на некий анонимный звонок), сколько всмотреться в это фальшивое, незаконное свидетельство о браке, в ее глаза, в глаза ее мужа, и может быть тогда, на воображаемой скамье подсудимых, опустив голову...

Я вхожу в переполненный зал суда, среди лиц узнаю знакомые: моя мать, мой бывший друг и его жена, вероятно, еще и Полина, также своеобразная жертва этой любви, другие, уже безымянные, вне светового круга мелькающие лица...

– Подсудимая, встаньте. Признаете ли вы тот факт, что в здравом уме и рассудке излагали признания в своей любви ко мне?

– Да, гражданин прокурор.

– Обратите внимание, товарищи судьи на текст письма, наиболее характерного для подсудимой, включая неизбежные грамматические ошибки... *Я люблю тебя почти так же, как я люблю Бога. Дело не в том, что мужчина вообще создает любимую женщину, по своему образу и подобию, а в том, что именно ты создаешь именно меня...* Вдумайтесь в эти слова, господа присяжные! Слово, как говорится, не воробей. Преступление, совершенное подсудимой, в сущности, лежит не в плоскости верности, измены и т.п. Это прямое нарушение третьей заповеди Христа: не солги. В связи с этим я продолжу чтение данного письма, хотя оно, вроде бы, не имеет прямого отношения к нашей теме, но красноречиво свидетельствует о том, насколько сильна и искренна вера подсудимой... *Меня смутило твое письмо, в котором ты говоришь, что Бог ушел из твоей жизни как посредник между тобой и вселенной, что теперь ты будто бы вышел на прямую в космос и т.д. Это – немыслимое заблуждение, потому что Бог и есть вселенная, и выше Бога ничего нет. Я знаю, ты возразишь на это, т.к. уже возразил в том же письме: дескать, Бог – неудачник, Его творенье оказалось несовершенным, он потерпел фиаско и т.д. Следовательно, по-твоему, существует нечто, что выше Бога. Но все дело в том, что Бог сотворил мир раз и навсегда, а все то ужасное, что происходит в мире – дело либо человеческих рук, либо козней дьявола. Ты пишешь, что Бог несчастен, что Бог болен, и даже кощунственно шутишь, что Он последнее время слишком много пьет и дело, сотворенное Им, разрушается. Я, правда, не совсем поняла, что ты имеешь в виду, когда говоришь, будто бы Бог работает в какой-то «машине», но...*

– Достаточно! – оборвал судья, зазвенев в колокольчик. – Уже приехали.

Мы остановились на Сиреневом бульваре, прямо перед моим домом. Я так хлопнул дверью, что машина закачалась на рессорах. Моя башня была темна, и лишь одно окно циклопически светилось. Я увидел, как появился в окне силуэт. Наверно, всю ночь она сидела на кухне и кидалась к окну при каждом уличном звуке. Почему я не позвонил ей с вокзала, еще там, в Азии?

Кажется, впервые в жизни я не ключом отпер свою дверь, а нажал на кнопку, успев удивиться, как незнаком этот звук снаружи, и вот уже завозило за дверь, уютно лязгнуло, и в расширяющейся щели я увидел накрашенное лицо пожилой женщины: она пятилась, пятилась к противоположной стене прихожей, пока спиной не уперлась в стену и не превратилась в мою мать.

* * *

Я обнял ее за плечи и поцеловал в обе щеки. Запах перегара был почти не слышен.

– Хочешь кофе? – предложила она, поведя головой в сторону кухни.

– Да, с коньяком.

– Коньяка нет. Есть портвейн, шампанское, откроешь?

– Не хочу. Я уже пил сегодня.

– Почему не позвонил с вокзала?

– Не знаю. Я вообще несколько лет не говорил по телефону.

– Ага. Надо бы обработать йодом, иногда бывает заражение крови.

– Очень редко. В крайнем случае – исчезну опять, теперь уж на неопределенный срок.

– Не надо так шутить. Знаешь, буквально на днях я хотела все переставить в твоей комнате, но потом подумала, что тебе будет приятно увидеть свой дом именно таким, каким ты его оставил. Но мне почему-то кажется, что все здесь надо основательно передвинуть.

– Мне это безразлично, мама.

– Но ты все-таки подумай. Если поставить кровать боком к стене, то солнце не будет светить тебе в глаза по утрам, и ты сможешь просыпаться, когда захочешь.

– В этом есть своя прелесть, мама. Как и в том, чтобы просыпаться по скользящему графику светила.

Мы вошли в комнату, бывшую когда-то моей. Я ошарашено огляделся, похолодев от тоски, тревоги, поскольку то, что я увидел, наглядно демонстрировало ее безумие.

Мать продолжала свою болтовню, тем *непринужденным тоном*, который она взяла с самого начала, который подразумевал, будто бы я отсутствовал месяца три, скажем, путешествовал с хиппи и вернулся, полный удивительных впечатлений:

– Я подумала, что эту тумбочку можно поставить у изголовья и пить кофе прямо в постели. Это аристократично. К тому же – телевизор. Если он уместится тут, то ты сможешь включать его ногой, словно это какой-то педальный телевизор, правда?

– Да, – сказал я, интонируя терпеливого психиатра. – Мне нравится такая идея.

Дело в том, что философия обстановки в комнате кардинально изменилась. Мать действительно, а вовсе не воображаемо, слабая, передвинула вещи. Я почувствовал жалость, ужас: надо бы поскорее, не откладывая, выяснить, как далеко зашла ее болезнь. Впрочем... В те минуты я не был уверен, что имею дело с ее, а не с моей собственной галлюцинацией.

– А что это за коробка? – спросил я, увидев в углу кое-что подозрительное.

– Так, пустяки. Хочешь, открой...

Легкая прохлада ее голоса насторожила меня. Я развязал вместительную телевизионную картонку и раскрыл ее, уже догадываясь *что* в ней может быть. Сердце мое екнуло. Это был мой компьютер, который я, счастливчик, собрал незадолго до. Это было немыслимо.

– Как ему удалось избежать конфискации?

– Мара. Я сразу отвезла его на хранение к Маре. Там он и прожил благополучно все это время.

– Ты гений, мама! И старушка Мара...

Я осекся, проглотив слово, как всегда бывало, если я ловил себя на том, что на несколько минут забыл о Марине.

И тут я заметил, что мы в комнате не одни.

– Кто это?

– Рыска.

– Кошка.

– Нет, кот. Рыска ведь может быть и мужским именем, как, скажем, какой-нибудь Спиноза.

– Заноза, глюкоза... В общем, лучшего желать нельзя.

Я подошел к окну. Как и обстановка моей комнаты, пейзаж улицы изрядно изменился, будто бы мать поработала также и на свежем воздухе. Она достроила стадион, наскребла экскаваторами каких-то бессмысленных ям на востоке и зачем-то сломала одну из трех кирпичных труб вдали. Эта пародия на трезубец Нептуна когда-то была зрительным центром общего плана и хоть как-то держала пейзаж. Впечатление было такое, будто бы у некрасивой, но все же сносной женщины вышибли зуб, что окончательно изуродовало ее лицо. История как бы повторялась: смысл своей *перестройки* вертухаи государства видели не столько в создании, сколько в разрушении жизненной среды.

– А кто этот счастливчик, – наконец спросил я, глядя в окно, на эллиптический простор стадиона.

– Все гораздо сложнее, – сказала мать. – И проще.

Капля пота, медленно увеличиваясь, заскользила по моей спине.

– Я солгала, написав, что Марина вышла замуж. Сама не знаю, как это получилось. Кажется, я совершила ошибку, решив тебя таким образом подготовить, но... Наверное, вообще не надо было напоминать о ней, но ты все спрашивал, она ведь перестала писать тебе задолго до того, как...

Кот прыгнул мне на плечо, и я машинально приласкал его.

– И что же? – спросил я, поглаживая мягкую шерсть.

– Марина не вышла замуж, она...

– В Америку, – внятно подумал я. – Ну, конечно же! Сейчас многие уезжают в Америку, она...

– Она умерла.

Я сбросил кота на пол. Он, потянувшись всем телом, хрипло мяукнул, изнывая от наслаждения собственным бытием.

– Просит есть, – сказала мать. – А ведь тебя сразу принял! Пойти, дать ему чего-нибудь? Эх ты, Рыска! Я не сразу об этом узнала. Я ничего толком не знаю. Это был несчастный случай. Последний год она и не навещала меня. Вообще, последние годы люди стали меньше общаться. И как-то раз я сама позвонила Полинке, и та рассказала... Вот и все. Несчастный случай... А тебя сразу признал. Я дам ему чего-нибудь, ладно?

Я услышал, как на кухне мать налила себе вина и выпила. Потом занялась котом. Последние минуты дались ей тяжело.

Я разделся и лег. Небо уже светлело, но было пасмурным, значит, солнцу сегодня не удастся разбудить меня, даже если бы кровать стояла на прежнем месте.

* * *

Проснувшись, я было принялся обдумывать планы возмездия, пока не вспомнил. Я проспал двенадцать часов, из сумерек в сумерки. Квартира была тиха и безжизненна, как чистый лист бумаги. Мать я нашел в ее комнате, она спала в одежде, уткнувшись в ковер, где пуля, сотню лет назад выпущенная бородатым русским охотником, все еще летела в голову серого волка.

Годы и прочее не смогли испортить ее фигуру. Тут же, на стуле, громоздился дьявольский натюрморт: пустая бутылка из-под простого портвейна и любимый хрустальный бокал, который я очень давно подарил ей на день рождения.

Мама когда-то была красавицей, впрочем, таковой она и осталась, только перешла в высшую возрастную категорию. Это ложь, будто бы зек обожает свою мать: «мать» для зека лишь повод развязать драку.

Я взял телефон, подержал и положил на место. Звонить Лине, немедленно дернуть за эту невидимую нитку смерти? Вот прямо так, с корабля на бал, из огня в полымя, как некий романтический герой, который, едва откинувшись, тотчас начинает собственное расследование, падает, бежит, стреляет, целует судьбу в диафрагму...

Я занялся компьютером: извлек, расположил на столе, стер вековую пыль. Я даже сентиментально погладил его и понюхал – не пахнет ли чесноком?

Эта модель, в момент своего рождения бывшая последним криком IBM, теперь годилась разве что как пищащая машинка. Уж лучше бы и ее конфисковали, подумал я. Она всего лишь грустно и невостребованно состарилась в картонной коробке.

Вскоре, однако, я понял, что это не так. Кто-то изрядно поработал над ней: часть моих программ была стерта, а на их месте были записаны новые, но самым отвратительным было то, что кто-то уничтожил мои дневниковые записи, касавшиеся меня и только меня.

Я в ярости набрал номер Мары. Это была сослуживица матери, в один год с нею ушедшая на пенсию – такая маленькая благородная старушка, Божий одуванчик, из тех, кого всегда хочется схватить за ноги и бить, бить головой об пол. Ее любимым наркотиком являлся чеснок: она ела его до тех пор, пока ее не пробивали кашель и тошнота.

Мара была жива и здорова: естественно, ведь еще Авиценна учил о всеобъемлющей пользе этого удивительного растения. С выразительным тактом, свойственным лишь евреям,

она опустила всякие расспросы и перевела разговор на массовый исход соплеменников в Америку.

– Вас можно поздравить, – перебил я, – вы сделали значительные успехи в программировании.

– Не понимаю, о чем ты.

– Ну, как бы это потактичнее... Я, конечно, весьма благодарен вам, Мара Феликсовна, за то, что вы сохранили бесценную принадлежащую мне вещь...

– Что, не включается? – в свою очередь перебели она.

– Спасибо, все хорошо. Скажите – так, из любопытства – никто на нем не работал за это время?

– Нет, что ты!

– Может быть, в ваше отсутствие, кто-нибудь из племянников?

– Нет, клянусь! Он лежал, упакованный на дне моего самого девичьего комода, где я с юности храню любовные письма... Что ты, деточка!

– М-да... – проямил я, вспомнив об одной существенной детали. – Извините, мне просто что-то показалось.

– Ну, так перекрестись.

Мара закончила разговор. Телефонная трубка пахла чесноком. В мониторе величественно плыли звезды Нортон-командора, символизируя полет бога-создателя через Вселенную.

Обстоятельство, которое заставило меня поверить в ее слова, заключалось в том девственном слое пыли, который я два часа назад стер с корпуса, беличьей кисточкой осторожно удалил и внутри. Несомненно, что коробка даже и не открывалась, и мельчайшая домашняя пыль изо дня в день просачивалась сквозь щели. Следовательно...

Следовательно, это случилось еще до моего исчезновения и непосредственно связано с той драмой, которая произошла тогда.

Я еще раз внимательно просмотрел винт. Это было немыслимо. Образ *некто*, стирающего программы, был вполне понятен, но разве возможен кто-либо, *записывающий* программы? Может быть, среди тех, кто проводил обыск, был программист-любитель, и он развлекался, пока его коллеги работали?.. Что за чушь! Во-первых, ему для этого надо было иметь при себе дискеты, ну ладно, пусть он чокнутый, всегда носит дискеты с собой, но ведь сказала же мать, что она спрятала компьютер у Мары до обыска... Нет, скорее, это какой-нибудь племянник, сволочь, он читал мои дневники и, может быть, переписал их себе на память, прежде, чем уничтожить, о, с каким бы удовольствием я проломил бы ему юный череп ясеневым молотком для отбивания мяса! А пыль? Но племянник мог быть и все восемь лет назад, сразу после того, как.

Мысли мои путались. В таких случаях, чтобы не заикнуться, я приучил себя ставить в мозгу что-то вроде замка. Я попытался и у меня получилось. Я благополучно отбил мясо, стараясь как можно громче стучать ясеневым молотком, чтобы вывести мать из летаргии.

* * *

Вечер, часть ночи и весь следующий день я провел у телевизора, большим пальцем ноги активизируя сенсоры и глядя все программы одновременно. Разбудив мать и накормив ее мясом, я включил телевизор и уже не мог оторваться от экрана.

Последние годы телевизор на зоне был табу, впрочем, как и пресса вообще. Информация с воли, конечно, просачивалась, но подлинную картину мира я увидел только сейчас. Меня поразило, измучило и чуть ли не довело до безумия обилие негритянской крови в рекламных роликах и так называемых видеоклипах. Счастливые зубастые негры исполняли причудливые

танцы свободных яиц, на фоне аппаратуры, которая и не снилась мне в мои времена. Соблазнительные негрятки двусмысленно лизали шоколад, *bubble gum*, вертели своими, особого африканского покроя, ягодицами в белых псевдотрусиках, облизывали бананы на фоне снежной пены морского прибоя, прицельно постреливали белками глаз...

Ближе к вечеру, вполне насладившись, я, наконец, набрал номер Лины. Она ответила сразу, словно держала аппарат на коленях.

– Ах, это ты! Ну что ж? Ты уже знаешь, да?

– Хотел бы тебя увидеть, – сказал я.

– И услышать что-нибудь о...

– Вероятно.

– Я не хочу по телефону. Да и вообще – не хочу.

– Тогда я приеду.

– Нет. Я жду гостя. Встретимся завтра.

– Утром?

– Нет, в четыре часа.

– На Пушке.

– Разумеется. Выпьем где-нибудь кофе.

– В «Лире».

– В жопе.

– Ну наконец-то! А я уж было подумал, что ошибся номером.

– Ты недалек от истины.

– Спасибо тебе за письма. За все три.

– Это была просьба твоей мамы.

– Об этом я и толкую. Что не оставила ее.

– Должен же был быть с нею *хоть кто-нибудь*.

– Я отлучался не по своей воле.

– Может быть – по моей?

– Откуда мне знать?

– Что? Давай-ка сразу расставим точки. Это не я сдала тебя.

– Меня не слишком интересует этот вопрос.

– Но ты хочешь сказать, что допускаешь такую возможность?

– Нет. Просто мне все это безразлично, как, скажем, вчерашняя катастрофа в Лондоне или вопрос божьего бытия... Я не собираюсь заниматься расследованием, вершить суд и, зачитав приговор, долго, низкими сводчатыми коридорами вести виновного в ту особую, длинную, словно тир, комнату, которая заканчивается дощатой стеной с желобом внизу, где, если я чего-то не путаю, Раскольников спрятал свое шальное золото, хотя, разумеется, радость моя, это и именно это я собираюсь проделать с одним из вас, или со всеми вместе, тщательно взвесив на воображаемых весах восемь лет моей жизни и – на параллельной чаше – чей-нибудь зуб или око... Падла! Кто, кроме тебя, мог, ничем не рискуя, навести на меня ментов? Хомяк? Моя матушка? Как видишь, круг подозреваемых четко ограничен, а по закону жанра *преступник не может быть человеком со стороны*. Так что, не надо быть Эрклею Пуаро, каждого встречного увеча пиками усов, чтобы догадаться, с кого начать...

Разумеется, все это я проговорил мысленно, да и в самом деле: найти и покарать предателя было уже не самой главной целью моей оставшейся жизни.

– Что ж, если ты уже решил этот теософский вопрос, то я рада за тебя, – холодно произнесла Полина и, помолчав несколько секунд, неожиданно сменила тон:

– Скажи-ка, во избежание шока: руки-ноги целы? Глаза, ребра?

– Почти. Я скучал по тебе.

– Иди ты...

– Марина умерла, – зачем-то сказал я в трубку, когда эфир уже забили короткие гудки, чьи-то утробные диалоги... Это внешнее, полное запредельных звуков пространство, как бы призывало меня.

Я вышел на улицу и двинулся на юг. Я миновал стадион, Петровский остров, уродливое сооружение метро, углубился в Измайловский парк и в крошечной тьме прошел его насквозь, снова оказавшись в городе.

Это был не проход, хотя я отчетливо сознавал, что иду, перебираю ногами, а нечто вроде полета – низко над землей, сквозь призрачное пространство, временами разрывая его и двигаясь сквозь предметы – нечто подобное говорил один бывалый, уместя в короткую метафору: *когда ты на воле, ты как бы летишь...* Ради этого ощущения стоит влачить долгие годы в неволе... Еще лучше об этом сказал Леннон: *Images of broken light which dance before me like a million eyes, that call me on and on across the Universe...*

Ноги, казалось, сами несли меня к какой-то цели. Неожиданно я очутился вблизи того места, где произрастали заводские трубы, трезубец, прежде видный из моего окна. Это одно из тех мест, где никогда не бываешь, но которые стремишься посетить – из праздного любопытства – и всегда откладываешь. Над подобными объектами педантично маячит призрак твоей старости.

Ну и что? Я увидел забор, ярко освещенную проходную кирпичного завода, две оставшиеся трубы, на которых тысячи раз останавливался мой взгляд, только теперь – вблизи, запрокинув голову, словно американский турист.

Какое-то беспокойство овладело мной от этого банального местечка. Что-то было не так, но я не мог понять, что именно.

Мое внимание было рассеяно. Я то чувствовал уколы Марины, то думал о старческом маразме матери, то вспоминал метаморфозу компьютера, и мне казалось, что игра, которая отобрала часть моей жизни – если даже не всю ее – еще далеко не закончена.

Будто бы разорвалась нить, на которую были нанизаны девяносто семь моих месяцев, будто бы я увидел, как они рассыпались и утонули в снегу.

* * *

Время было поздним, жизнерадостные жаворонки уже отходили ко сну: из окна автобуса я наблюдал антиаккорды быстро гаснувших окон. Сам я чувствовал себя довольно бодрым, как после средней дозы шняги, кукнара, кабыбыла, или какой другой маковой производной.

С полчаса я провалялся в ванне, в течении горячей воды. *Лучше бы ты умерла* – эти слова не давали мне покоя, слова, произнесенные мной в тот момент, когда я скомкал в ладони злополучное письмо матери, где она задушевным тоном сообщала, что моя невеста, моя *Rubber Soul* уже вышла замуж, не видя чудовищной синонимии, как любой графоман, понятия не имеющая, что означает на само деле Слово... *I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man...* Если уж привязались Beatles, то это надолго.

Итак, она и вправду умерла, как бы утолив мстительное, безумное желание. Умерла моя девочка, моя аскалка, любовь моя. Теперь уже не имеет смысла, какого чудесного цвета была ее нежная кожа: она медленно почернела под землей, на дьявольском ужине синклита могильных червей, они собрались на свой изысканный пир, прогрызли замысловатые ходы в бессильном ее теле... Зачем, спросил бы я тебя, если бы верил в твое существование, она так неистово молилась, зачем виртуозно владела клавиатурой рояля, для каких иезуитских целей ты дал ей лицо Нефертити, тело Венеры, волосы святой Инессы, знание трех языков и так далее, – черт тебя подери, к чему был нужен тебе сей омерзительный эксперимент? Или все это – какая-то твоя игра, смысл и правила которой мне неведомы?

Я подумал, как легко и – можно было даже выразиться – *приятно* в тепле, искусственной невесомости ванны – рассуждать о том, что жизнь реализует твои тайные желания, оживляет твои страхи, рассуждать, краем сознания все же не веря в эту инфернальную формулу бытия, но когда тебя, свято чтящего свободу и независимость, годы и годы гноят в тюрьме, когда твоя невеста, которая была единственной причиной твоей жизни, единственным тормозом от желания прекратить ее, вдруг перестает существовать – так или иначе – то ли выйдя замуж, то ли выйдя за скобки бытия... Что дальше? *Не дай мне бог сойти с ума?* А что ты скажешь насчет галлюцинаций?

Я внимательно осмотрел кусок мыла, который держал в руке, сжал его и ощутил. Я поднял голову и увидел под потолком хромирование крепление душа. И вдруг я почувствовал, что называется, спиной – ее, висящую на радиаторе отопления – веревку. Я оглянулся. На трубе и вправду, как по сценарию ночного кошмара, сохнул моток бельевой веревки. И я испытал облегчение. *Ее смерть действительно была лучшим исходом.*

Несколько лет мне не доводилось глядеться в зеркало столь долго, и я как бы впервые увидел себя. Это был человек лет сорока пяти, хорошо сложенный, сухой, эдакий стареющий спортсмен. Правда, я никогда всерьез не занимался спортом, и мне недавно исполнилось тридцать четыре. Вся моя молодость была поглощена заточением, и прямо из юности мятежной я шагнул в так называемую зрелость. Созрел и повис на дереве, как некий плод, как Иуда, хотя за мной не числилось никакого предательства.

Внезапно я понял, что больше всего на свете хочу спать. Сон отключил меня, едва я добрался до кровати, почти мгновенно, как хороший удар. Где-то бесконечно далеко, возможно, на кухне у соседей, шумел водопад. Кот прыгнул мне на грудь и медленно прошелся по лесистым холмам. Вошла мать и поспешно принялась раздеваться, бросая одежду на пол. Мне было любопытно, как устроено ее тело, но под одеждой у нее была пустота, и мать постепенно исчезала в темноте, словно цитата из Сальвадора Дали. Я проснулся в холодном поту.

Солнце действительно коснулось моих глаз и разбудило меня. Я нашел самолетик от мамы – на тумбочке, на фоне будильника. Он летел сквозь циферблат, как бы символизируя течение времени. Мать писала, что ушла на дежурство до вечера, объяснив подробно, что где лежит, какая еда.

На обороте, как бы случайно, оказался черновичок ее стихотворения, как всегда, сентиментального, беспомощного и смешного. Ее резкий угловатый почерк раздражал меня. Увы, она забыла, что для подобных телеграмм раньше служил бумажный кораблик – самолетик же применялся на случай, если кто-то из нас уезжал на несколько дней.

Завтрак, приготовленный ею, был жалок желанием устроить мне подобие праздника, как если бы я был человеком, придающим какое-то значение качеству еды. Я подумал о ее болезни и меня передернуло от отвращения: когда, при каких обстоятельствах теперь ожидать нового приступа?

Я вышел на улицу. До встречи с Полиной оставалось несколько часов, – но то ли меня тяготил воздух дома, то ли мне хотелось ходить: возможно, мое тело жаждало свободы перемещения – так или иначе, я решил дойти до метро пешком и поехать в центр – погулять и посмотреть некогда знакомый мне город, однако, миновав станцию «Сокольники», я понял, что весь день только и буду ходить, ходить... То, как я двигался в пространстве, опять напоминало вчерашний полет *Across the Universe*, когда потоки скорби, волны восторга неведомым течением неслись сквозь мой открытый мозг, лаская и обладая...

Пейзаж, представший перед моими глазами, был похож на юношеский, нередко повторявшийся сон – о какой-то немыслимой, небольшевистской России: помню, я просыпался, полный ожидания и счастья, особенно, последний год перед моим уничтожением, когда мир вдруг сдвинулся с мертвой точки, поплыл, набирая скорость, раздвигая льдины, и вот теперь, теперешнее пробуждение, оно как бы повторяло изгибы чего-то знакомого – так изнанка напоми-

нает лицо: вот грубые обмоточные швы, вот крепление пуговицы с отгрызенной нитью, вот вышивка наоборот...

Часа за полтора дойдя до почтамта и увидев, что даже это здание отдано под какие-то новые организации, я совершенно убедился, что миру, в котором я некогда жил, пришел конец.

Я двинулся по бульварам. Здесь, посередине, текла длинная, мирная, постоянно завораживающая река никем не тронутой Москвы.

Но что-то было не так. Что-то настораживало меня, беспокоило, приятно удивляло и в месте с тем – приводило в смятение, почти в ужас. Вдруг случай помог мне понять, в чем тут дело.

Напротив Пушкинского дуба (к счастью, его не спилили, к счастью, его не разрушило молнией) крашенная, не первой молодости девица спросила у меня огня, для выразительности описав в воздухе большой вопросительный знак длинной, какой-то коричневой сигаретой. Я молча протянул ей острый язык пламени. Поблагодарив и выпустив кольцо дыма, она несколько секунд пристально разглядывала мое лицо, затем криво улыбнулась и продолжила свой неторопливый бульварный путь.

Ее отвратительная морда была белой и круглой, словно дневная луна. У нее были большие желтые глаза, маслянистая кожа, словом – ни дать, ни взять – яичница из двух яиц, если еще учесть, что всю ее кожу покрывали кратеры от прыщей: так прошла по ней мятежная юность...

Почему я так внезапно возненавидел ее, честную проститутку, *трупную курочку*, как называют их на зоне – тем более, что я ей, несомненно, понравился?

Подумав об этом, я понял, *что именно* беспокоило, удивляло меня весь этот променад. Откуда такое внимание ко мне, невзрачному мужчине, при виде которого – даже в годы его цветения – прохожие женщины еще издали опускали глаза, мельком определив что-то безынтересное, скучное? Может быть, я успел с утра чем-то запачкать лицо, или же у меня на лбу проступило, подобно стигмату, какое-то неприличное слово?

Я достал карманное зеркальце и, присев на лавочку, принялся внимательно рассматривать свое отражение, как вчера в ванной. Неистребимый образ тюрьмы – морщины по углам глаз, якобы загорелая, землистая кожа, ярко выраженный череп – особенно, в районе скул – глубокие складки от крыльев носа до уголков рта... С самого утра встречные женщины беспардонно заглядывали мне в лицо. Это было непостижимо: почему, каким образом, из посредственности я превратился в красавца? Может быть, это и есть – в понимании глупых, лишенных вкуса особей женского пола – самый натуральный красавец?

И тут я раздулся, как рыбий пузырь – пузырь, внутри которого плавает некий еще – словно страховая оболочка дирижабля – меньший пузырь, рыбий пузырь номер два... Я не узнавал себя. Казалось, я видел совсем другое лицо, ничего общего не имевшее с моим прежним. Надо сегодня же достать свои старые фотографии и сличить. Впрочем, нет ничего удивительного в том, что я так изменился. Да и улица, полная женских глаз, ласкающая меня, обладающая мной, вовсе не беда, не Вселенская катастрофа, а скорее – наоборот.

Так, обойдя бульвары по наибольшей дуге, я вовремя успел на встречу с женщиной, которая возбуждала во мне лишь отвращение и ненависть, потому что я очень хорошо понимал, что существо это лишено души, даже резиновой, а представляет собой ловкий самодвижущийся механизм. Так, наверное, эти ублюдки, которые называют себя *новыми русскими*, встречаются с деловыми партнером, который, скажем, болен гастритом и воняет за версту.

Поднявшись из подземного перехода, я через левое плечо, как на молодой месяц, привычно глянул на часы. Циферблата больше не существовало: на его месте красовалась реклама какого-то шоколада.

Лина еще не подошла. Опаздывать на свидания было ее неизменной привычкой, вероятно, этим она стремилась доказать свою гипертрофированную женственность.

Я обошел вокруг памятника, с досадой отметив, что встреча с ним не вызвала во мне никакого трепета. Тот же самый голубь, или его правнук, законно восседал на измазанной гуано голове гения. Я вообразил: а что если там, в толще бронзы, как зловещая шутка Опекушина, расположены бронзовые внутренности – почки, печень, желудочно-кишечный тракт? Или же – скорее всего – этот молчаливый сфинкс полый внутри, и там (ну как все-таки не думать о белой обезьяне?) в запаянном пенале ожидает своего часа записка: *Эй, вы, германны, моцарты, бонапарты, если б вы только представляли всю глубину и скорбь моего отвращения к вам, здравствуйте. православные, слушайте, товарищи потомки!*

Я остановился у левого яйца, перечитал бездарную, завязшую в зубах школьную розгу, *exegi monumentum*:

И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лирой... был полезен... И т.д.

В сущности, Пушкин такой же гений, как и Бродский: спереть все лучшее у современников, которым с талантом повезло меньше, и незаметно, как зажигалку в гостях, засунуть себе в карман. Ну, послушай, Сергеич, разве это ты? Не узнаешь? Несчастный! Тебя не было вечность. Ты просто призрак, муляж, восковая фигура, неизвестно что, впрочем...

Впрочем, этот словесный коллаж не имел никакого отношения к сфинксу Натальи Николаевны: среди толпы ожидающих я увидел нечто, похожее на Полину. Напряженно улыбаясь, оно двигалось прямо на меня. Мир дрогнул и поплыл перед моими глазами: мне вдруг показалось, что все вокруг замерли, строго посмотрели в мою сторону и громко щелкнули пальцами.

КУКОЛ ДЕРГАЮТ ЗА НИТКИ

Полина была из тех женщин, которые бурно цветут и рано вянут. Я встретил жирную, обрюзгшую, совсем чужую. Она шла вразвалку, и я не сразу узнал ее, отметив, что ко мне приближается что-то вроде утки. Кря-кря. *Ну, иди же скорее сюда.*

Мы остановились на расстоянии руки, словно упершись в стеклянную стену. Это не она, вдруг подумал я, просто очередной выверт реальности, образовавший в том же времени и месте другую, похожую женщину. У этой, ложной Полины, были темно-зеленые, почти черные глаза...

– Это ты? – спросила она.

– Не знаю, – сказал я, впадая в панику.

Это был призрак, муляж, восковая фигура, неизвестно что. Я точно помнил глаза Лины: серые, водянистые, порой голубые – в зависимости от цвета небес.

– Я бы выпила кофе.

– Идем в «Лиру».

– В жопу, как я уже сказала по телефону. Нет больше никакой «Лиры». Несчастный! Тебя не было вечность. Я даже с трудом тебя узнаю. Послушай, Сергеич, разве это ты?

– Конечно, нет. Не совсем. Клетки этого тела обновились процентов на семьдесят, если ты что-то помнишь из курса анатомии.

Мы пошли молча. Перейдя улицу Горького под землей, вошли в дверь кулинарии, где теперь расположилась кофейня. В помещении все еще пахло чем-то непоправимо капустным. Мне показалось, что я попал в какую-то западню.

– Что так смотришь – тоже не узнаешь?

– Нет, – признался я.

– Это хорошо. Не думала, что ты помнишь их цвет. Это контактные линзы, и они цветные. А ты, верно, подумал, что я вурдалачка, или тут замешаны пришельцы, или мы здесь все мутировали, пока тебя не было, так?

– Нет. Ничего такого я не подумал. Пойду, возьму кофе.

За прилавком сидела флегматичная уродка с большим чувственным ртом и огромными грудями, которые она уютно расположила среди разнообразного питейного стекла. Она улыбнулась так похотливо и кокетливо, что мне захотелось сотворить ей гложую смазь.

– Ну, выдохнула Лина, когда я поставил перед ней дымящуюся чашку, – рассказывай.

Эта неизменная фраза значила, что от меня требуется подробный отчет о моей жизни от встречи до встречи – полупрозрачный намек, своеобразный такт, от которого меня уже тошнило.

– Часть мебели мать продала, – сказал я, включаясь в игру, – часть переставила.

– Неужели?

– Да, представь. Платяной шкаф, который раньше стоял у южной стены, теперь перекочевал на северную. Книжный отодвинулся в противоположный угол, рядом с ним – кресло.

– А кровать?

– Кровать развернулась на девяносто градусов, боком к окну.

– Что ж, теперь утреннее солнце не будет светить тебе в глаза, и ты сможешь просыпаться, когда захочешь...

Мы помолчали. Я пригубил кофе, культивируя паузу.

– Хороший кофе? – спросила Полина.

– Понятия не имею. Возьми и попробуй сама.

– Послушай, Сергеич, перестань морочить мне голову. К чему, скажем, эта шутка с мебелью? Стоит, как и стояла, в том числе, и кровать, с которой у тебя связано столько приятных воспоминаний...

– Боюсь, что это не вполне моя шутка. Ну а ты, что ты можешь мне рассказать?

– Ганышев совсем не изменился, до самой последней клеточки, – сказала Лина, отпила из своей чашки и скорчила недовольную гримасу. Мне захотелось ее ударить.

– Ганышева, – сказал я, – больше не существует. Его расстреляли за шпионаж, подрывную активность, менаж, метранпаж и другое – все в рифму.

– Ганышев – неисправимый фразер.

– Кря-кря.

– Что?

– Так, привязалось.

И снова пауза. Надежды на то, что она заговорит первой, больше не оставалось.

– Когда и где? – резко спросил я.

– На даче в Переделкино.

– Что? На той самой даче?

– Откуда мне знать? Там несколько сотен дач.

– Что произошло в Переделкино? – терпеливо спросил я.

– Сгорела какая-то дача. Она – вместе с ней.

– Я делаю вывод, что ты, по крайней мере, месяца три не видела нашего общего друга.

– Гораздо больше. Хомяк, видишь ли, стал *новым русским*, вышел в другие круги общения, ему теперь наплевать на таких как я. Да и мне, соответственно – по ветхозаветной морали – глубоко наплевать – его ли дача там сгорела или чья-нибудь еще.

– Так, – я ободряюще похлопал ее пухлую руку. – Продолжай.

– Ничего более. Я не видела ее целый год до того, а раньше – еще год. Люди, понимаешь, расстаются иногда. Последняя встреча была случайной. Она торговала газетами в метро. Мы поболтали несколько минут, пока не явилась ее подруга, какая-то Ника...

– Кто эта Ника?

– Почему я знаю? По виду – тоже аскалка.

– Есть ее телефон, адрес?

– Ты не на допросе.

– А где?

– Говоря откровенно, ты просто в жопе.

– Жопа – гораздо более целомудренное место, чем голова, – парировал я, сжимая кулаки.

Этот жест не ускользнул от моей внимательной наперсницы. Она беспокойно двинула по сторонам своими линзами. Увы – она помнила мои кулаки.

– Отлично, – сказал я, примиряюще показав ладони, любимым жестом гуру Махариши. – Тело опознали по какому-нибудь недогоревшему лоскутку. В саду под каштанами нашли голенище от шувов. А где зарыли уголь?

– Отвезли к бабушке в Киев, нетрудно догадаться.

– В запаянном цинке, как афганского героя. А через девять дней, в каминной трубе, *Babulinka* услышала протяжный, тоскливый вой. О доме Ашероу Эдгара пела арфа...

Полина внимательно посмотрела на меня.

– Зря ты развеселился, – сказала она. – Труп действительно опознали. За ту вечность, пока ты был в небытие, криминалистика ушла на октаву вперед. Я не знаю, была ли это дача Хомяка или какая другая, и не знаю также, с какого дьявола она оказалась там. Где найти Нику, я понятия не имею и ничем не могу помочь, даже если бы и захотела... Давай-ка закончим этот разговор, Ганышев, прошу тебя. Если хочешь, можем чего-нибудь взять и поехать ко мне. Надеюсь, за время своего космического путешествия ты не набрался звездной голубизны?

Я посмотрел ей прямо в глаза, минуя линзы, симулируя внутреннюю борьбу. Тонем самым серьезным, каким обычно выдаются отъявленные глупости, я произнес:

– Полина, он не полетит.

Это была остроумная шутка из одного древнего телефильма. На моем бывшем языке – нет, я не согласен.

Лина отшатнулась, словно я плеснул ей в лицо горячим кофе, плюс пропустил через ее тушку электрический ток: мышечная дрожь дошла до меня даже через столешницу.

Я не мог понять, почему мои слова привели ее в такой колоссальный ужас.

– Ты... – Полина не договорила, поспешно встала и вышла, оставив настежь открытую дверь.

Отказ провести с нею ночь не мог возбудить подобную реакцию – я слишком хорошо знал ее характер. Знаменитый самолет из сюрреалистического сновидения Нестора, хоть и напавший один из самых черных моментов наших отношений, был давно прощен и забыт – в той неожиданно трогательной переписке, которую я вел с нею, частично предавая Марину.

Невозмутимо допив свое кофе, я вышел на улицу и снова увидел эту женщину. Она втягивала дым сигареты, глядя исподлобья, словно ожидая порки.

– Ты думаешь, – услышал я, – что она торговала книгами теософского содержания? Такая опрятная, смуглая, в белом кокошнике? Она торговала порнухой. Да, да, что ты вылупился? Самой грязной и безобразной порнухой. Ты слышишь? Она умерла задолго до того, как умерла, она...

Я взял ее за плечи, развернул и легонько подтолкнул коленом под задницу.

– Иди с миром, – благодушно сказал я, – и благодари бога, что я не перепутал твою жопу с твоей головой.

* * *

Ночь была мучительной. Меня терзали какие-то навязчивые мелодии, психоделические тексты, в голову лезли всякие бредовые версии, одна состязалась с другой своей нелепостью. Нет, она не могла умереть, бросив меня одного на этой долгой и ветреной дороге, в темноте, во сне... Но я с необыкновенной ясностью представлял, как ее тело – то, что от него осталось – запаянное в металлический ящик, двигалось из Москвы в Киев, и эта реальность была неумолима. И я – не могу лучше это выразить – *чувствовал*, что Марины больше нет в этом мире, то есть, вообще больше нет нигде, потому что никакого *другого* мира не существует. Непонятно почему, но я ощущал это. В скором времени я убедился в том, что предчувствие не обмануло меня, что все мои надежды напрасны, но то, что произошло в действительности, оказалось гораздо страшнее, чем я мог себе вообразить.

Так всегда в полусне, когда слабеет сознание, детали бытия раздуваются, и само существование оборачивается кошмаром, и вот уже очищенный, вытянутый, словно эссенция, предстает перед глазами и ужас будущей смерти, и страх оставшейся жизни.

Ночь звучала гулким, мистическим эхом отражений: звуки, рожденные где-то внизу на бульваре – лай брошенной собаки, сцуг автомобильной двери, синусоидальный путь пьяного – шли сквозь меня подобно какой-то эмиссии, и так же, от катода к аноду, двигался сквозь мой позвоночник расстроенный лифт. Чьи-то чудовищные аморфные лица заглядывали в мое лицо, в разрыве туч показалась и спряталась луна, как бы подмигнув, кот медленно приоткрыл дверь, вошел и поскребся лапами о косяк, вдруг кто-то потянул с меня одеяло...

Мать стояла подле кровати, совершенно голая, бледная в свете, тянувшегося из прихожей. Я глянул на часы – четыре утра. Мать погладила свое тело от колен до груди и посмотрела на меня, улыбаясь.

– Хороша? – спросила она чужим, утробным голосом.

Я сел на кровати, стараясь не глядеть в ее сторону. Наивно было полагать, что это кончилось, но все же я не ожидал, что это произойдет так скоро.

– Разве ты больше не хочешь меня, Леонид?

Я встал и, стараясь не смотреть в ее мутные глаза, несколько раз ударил ее по щекам. Потом взял за локти и бережно потянул назад, в ее комнату. По пути она проснулась. Я подал ей халат.

– Какая глупость, – сказала она. – Знаешь, я не лгала. Со мной действительно, ничего такого не случилось за все эти годы.

– Еще бы, – подумал я.

Иногда мне казалось, что она лишь делает вид, что не помнит своих припадков, и меня бросало в дрожь. Однако, врачи утверждали, что сознание возвращается к ней лишь в момент пробуждения, когда она обнаруживает себя где-нибудь посередине комнаты, вполне уверенная, что подвержена самому обыкновенному лунатизму.

Ее припадки повторялись примерно раз в год. Когда это произошло впервые – мне тогда было лет пятнадцать – я чуть было сам не сошел с ума. Чтобы ее не посадили в дурку, мне пришлось заявить, что припадки прекратились. С годами я научился с этим бороться.

Она назвала меня Леонидом, словно действительно существовал какой-то Леонид... Последним был, вроде бы, Иосиф. Понятия не имею, откуда она брала имена.

* * *

На какое-то время мне снова удалось провалиться в сон, и проснулся я часов в одиннадцать, как ни странно, с довольно свежей головой. Меня переполняла и придавала мне силы какая-то безотчетная ненависть, чувство, не имевшее ни конкретной точки приложения, ни даже какого-нибудь вектора своей направленности.

Лежа в постели, я вспомнил об одной, казалось бы, незначительной детали. На фоне моего общего состояния, существуя где-то на заднем плане в скобках, сегодня она стала не на шутку беспокоить меня. Несколько минут я разглядывал мебель в моей комнате. Мать могла иметь любое внутреннее представление об окружающем мире, и это было понятно, но Полина?

Итак, уже два человека утверждали, что мебель осталась на прежнем месте, хотя я, понятно, не мог забыть свою прежнюю обстановку.

Я вспомнил один детектив, который пользовался наибольшей популярностью в моей библиотеке, пока его не заиграл парнишка из охраны. Там две женщины, лесбиянки, договорившись между собой, устроили герою спектакль, чтобы свести его с ума и отделаться от него... Я представил, как моя дорогая матушка, на пару с Полиной, тужась, двигают мебель... Это было немыслимо, не имело никакого мотива, но было вполне возможным, хотя бы по той простой причине, что я уже никому ни в чем не доверяю в жизни, никому и ни во что не верю... Одно я знал наверняка: *мебель в моей комнате была передвинута, хотя обе женщины утверждали обратное*... Стоп! Какое, в таком случае, имеет к этому отношение злосчастная труба? Я вспомнил свое сомнамбулическое паломничество к кирпичному заводу и понял, *что* поразило меня тогда. На данном бетонном основании стояло и могло стоять только *две* металлических трубы, и не было места для третьей, следовательно, никто никогда не сносил этой третьей трубы, следовательно, *третьей трубы попросту никогда не было*.

Nothing's gonna change my world...

– Мам, – вкрадчиво спросил я за завтраком, – вон там на горизонте, две заводские трубы, видишь? Мне кажется, там раньше была и третья. Ее что – снесли?

Мать посмотрела в окошко, потом – на меня.

– В порядке перестройки, – добавил я.

– Не помню, – сказала мать, равнодушно поведя плечами. – Я не приглядывалась никогда. В этой стране, вообще, нет ни одного приличного вида из окна.

– Так, – подумал я. – Интересно, кто в этом мире сошел с ума: мебель в моей комнате, моя сумасшедшая мать, трубы на горизонте, или же – я сам?

Я опять подумал о галлюцинациях, которые посещали меня последние несколько лет. Когда это началось и как? Может, причина была в моем юношеском увлечении наркотиками? Я не мог вспомнить никакого события, никакого толчка, с которого это началось. Одно оставалось ясным: галлюцинации были моим личным делом, значит, виноваты были не мебель, не труба, не компьютер, так же дающий неверные показания, а я сам. То, чего я всю жизнь боялся, оказывается, уже произошло – незаметно, тайно, исподволь...

Я ушел в свою комнату, бросился на кровать, закурил. Мои руки дрожали. Итак, это произошло со мной. Сдаться врачам? Покончить с собой? Но ведь я и так, оказывается, уже давно живу с этим, почему бы не попробовать дальше? Зачем? Ответ прост: надо найти Марину или ее следы. Надо или убедиться в том, что ее действительно нет, или... В тот день мне опять стало казаться, что она жива, что произошло какое-то недоразумение, что возможно еще какое-то чудо...

Последний способ, который остался у тебя, чтобы доказать мне свое существование, или, имея в виду то, что я иногда действительно думаю, что ты есть, – доказать твою добрую волю, продемонстрировать твой сусальный лик – это оживить ее!

Вдруг меня посетила простейшая мысль. Что, если все эти так называемые припадки матери есть мои личные припадки, то есть, на самом деле – все это *мои собственные галлюцинации*?

* * *

Прекрасно понимая, что рефлексия имеет какой-то смысл, я все же был уверен, что мне необходимо действовать.

Проще всего было позвонить Хомяку и спросить, не сгорела ли дача, и если да, то... Но я не мог представить, как буду разговаривать с человеком, с которым мы около двадцати лет дружили и в один, как говорится, *прекрасный день*, стали смертельными врагами, навряд ли Печорина с Грушницким. С тех пор его для меня не существовало, и надеюсь, что это взаимно...

Тем не менее, я позвонил ему, но мне ответил грубый незнакомый голос, я даже не разобрал толком, мужской или женский. Я повторил и меня опять обложили. Вероятно, изменился номер. Мать говорила, что в городе открылось несколько новых станций и часть телефонов переключили. Я решил поехать в Переделкино, чтобы увидеть своими глазами эту сгоревшую дачу, тогда, может быть, не надо было и вовсе встречаться с Хомяком. В конце концов, Лина права: в поселке несколько тысяч дачных участков, а теория вероятностей... Хотя *шестое чувство* (Седьмое? Одиннадцатое?) подсказывало мне, что драма разыгралась в одном единственно возможном месте... Я слишком хорошо помнил, как однажды, оглянувшись на это двухэтажное, псевдорусской резьбой украшенное строение, отчаянно его возненавидел и невнятным шепотом произнес: *чтоб ты сгорело!* Опять меня обуял ужас: кто и зачем исполнил еще одно мое бредовое желание?

В Переделкино все было на месте: нигде не выросло ни одной столетней сосны, Рождественскую церковь слегка подновили, но это было вполне естественно... Все было на месте, кроме дачи Хомяка.

Посередине участка возвышалась бесформенная, чуть припорошенная снегом груда из обгорелых брусьев, досок, немыслимо погнутых водопроводных труб.

Но что-то было не так... Я потоптался на месте, прошел вдоль забора, не сводя глаз с пожара.

Останки дачи находились метрах в двадцати от того места, где они должны были быть. Безумие...

Я перелез через забор. На сей раз реальность оказалась права, милосердна: обломки действительно были перенесены и свалены пожарными, фундамент же был на прежнем месте. Вероятно, здесь велось следствие по поводу... Слово *труп*, неизбежное в этой ситуации, вызвало волну отвращения.

Что-то привлекло меня в самом эпицентре развалин. Я приблизился. Это была огромных размеров, тускло блестящая гитарообразная вещь, и несколько секунд я не мог определить ее происхождение. Присмотревшись, я понял, что передо мной ничто иное, как деформированная высокой температурой медная дека рояля, поставленная на попа и столь похожая на могильный обелиск.

– Я пепел посетил, – вдруг пришло мне на ум начало строки, и я автоматически продолжил:

– Я пепел посетил, ну да, чужой, но родственное что-то в нем маячит... Хотя мы разделены такой межой. Нет, никаких алмазов он не прячет... – но у меня, не было ни времени, ни желания сочинять дальше.

Я пошел в сторону сарая, чей профиль угадывался вдали среди сосен. У колодца оставался, поднял крышку и заглянул внутрь. Далеко внизу, в зыбком квадрате инобытия, из-за какого-то уж совсем немыслимого края, высунулся по плечи и невыразительно посмотрел на меня мой двойник. Он слегка покачивался, значит, по линии сейчас шел тяжелый поезд. Я вдруг представил, что где-то там, в глубине этой дрожащей земной коры, существует и ждет меня отраженный мир, где, подобно отвратительной TV-рекламе, которую я видел недавно, все танцует – бутылочки, рюмочки, мордочки, туда-сюда – живет необутленный дом, хлопают насквозняке форточки, щелкают дверные запоры, шумит чайник, готовый отдать порцию утреннего счастья, и скрипят половицы под ее ногами... И если сейчас, зажмурившись и прижав руки к груди, перевалиться через сруб, выйти в новую зыбкую реальность, сразу покончив с этим сюжетом?

Нет, это всего лишь гнусная, мучительная, ледяная смерть – с переломанными ребрами, в черной, хотя и кристально чистой воде.

Помню, как ребенком я спускался туда по влажной веревке, чтобы увидеть звезду... Увы – это оказалось чьей-то мрачной шуткой, задуманной для того, чтобы убить в пространстве и времени несколько сотен любознательных детей. Тогда я испытал жуткое одиночество под землей, одиночество и оторванность, грубую реальность смерти, – несмотря на то, что сверху были отчетливо слышны голоса моих друзей, и появлялись в квадрате неба их темные торсы.

Я нагнулся и потрогал бревно, за которым был тайник. Там мы с Хомяком прятали – последовательно, от возраста – рогатки, сигареты, вино... Я попробовал сдвинуть половинку бревна, но она не поддавалась, обледенелая. Если бы кто-то неведомый, услужливый, подошел ко мне и шепнул на ухо: *горячо!* Почему мне не пришло в голову, что я прикасаюсь ладонью к той самой тайне? Ведь и Марина знала о существовании этой дверцы...

Я двинулся дальше, по щиколотку утопая в неглубоком снегу – холодно, холодно! Внезапно какой-то предмет привлек мое внимание. Я увидел прибитый к развилке сосны кусок ржавого железа, вернее – в форме трапеции Лобачевского – развертку старого ведра.

Это была мишень для упражнений в стрельбе, пробитая в нескольких местах. Кучность оставляла желать лучшего. Несколько секунд я тупо смотрел на это – что-то показалось мне странным, знакомым... Хомяк никогда бы не стал палить в бесформенную железку, этот этап мы прошли с ним еще в детстве. Тогда – кто?

Я добрал до сарая или, как жеманно называли его родители моего друга, флигеля. Ключ был на месте – естественно, под стрехой. Я отпер дверь и вошел. Сарай был все тот же. Все та же

дрянь красовалась на стенах: ужасающие африканские маски – трофеи заграникомандировок, гравюры в деревянных рамках, мотки веревки...

Одно меня смутило: зачем, спрашивается, надо было менять картинки – на даче, тем более, в сарае? Я задумчиво, словно в музее, уставился на одну из них. Это была репродукция Милле. Сутулый человек в соломенной панамке сопровождает плуг, на горизонте – роща. Прежде на этом месте, кажется, в той же самой раме было другое изображение: стог сена и спутанный вол – того же автора, с той же мелкой, точно рассыпанная горсть зерна, подписью в углу... Было бы понятным, если кому-то надоел колхозный пейзаж, и он решил заменить его, скажем, на мари... на Айвазовского... Но менять Милле на Милле?

Странная мысль впервые пришла мне в голову. Возможна ли вообще подобная форма безумия: избирательная память на предметы, которые я, якобы, видел в прошлом, какие-то совершенно бессмысленные галлюцинации, вроде этих пресловутых Милле?

Что если мир действительно изменился, и я попал в какую-то другую реальность, в лучших традициях ненаучной фантастики, почему-то при этом оставшись самим собой? Окружающий мир обернулся кошмаром, хоть не являл ни призраков, ни голливудских чудовищ, не истекал реками крови. Это был спокойный, уверенный кошмар деталей. Медленно, вкрадчиво, по одной – они входили в мою жизнь, настаивая на безумии.

Подумав так, я захохотал в голос, запрокинув голову. Я даже хлопнул себя по коленям. Я уже давно так искренно не смеялся. Ну да, непременно – вот сейчас распахнется дверь, и на пороге материализуется пришелец, вампир, мой двойник, Марина, или что-то в этом роде. Я, конечно, не всегда и не полностью отрицаю некую инфернальность бытия – существование каких-то посторонних сил очевидно, доказано многолетним опытом моих собственных наблюдений, – но не до такой же степени!

Внезапно сзади раздался шорох. Я оглянулся. В дверном проеме стояла женщина. Она тревожно смотрела на меня.

– Здравствуйте, – улыбнулся я, не сразу узнав профессоршу с соседней дачи.

– Здравствуйте, – ответила она бесцветным голосом.

– Я думал найти здесь Гену, но...

– А как же вы вошли?

– Все знают, где лежит ключ.

Она вздохнула и перевела взгляд на гравюру, которую я только что рассматривал.

– Вы похожи на посетителя музея, молодой человек.

Внезапная догадка осенила меня.

– Разве вы меня не узнаете?

Женщина пожала плечами.

– Я – Рома, старый друг Геннадия, Рома Ганышев.

– Что-то не припоминаю.

– Посмотрите на меня внимательно, неужели я так изменился, Жанна Михайловна?

Услышав собственное имя, она успокоилась.

– Извините, здесь бывает так много людей... Вы ведь школьный друг Гены, да?

Она не узнавала меня. Эти слова были лишь любезностью мягкого, никогда не имевшего своего мнения человека. Когда-то давно я хорошо знал ее. Тогда это была женщина сорока с лишним лет, немногим младше моей матери, милая, соблазнительная. Сейчас передо мной стояли развалины. От города, некогда процветавшего, остались одни фундаменты. *И она никогда в жизни не знала и не видела меня.*

– Их никого не было со времен пожара, – сказала она.

– С первого ноября?

– Ну нет. Несколькими днями позже, когда нашли трупы.

– Трупы? – сказал я. – Сколько трупов?

– Два – мужчина и женщина.

– Как вы сказали? Мужчина?

– Ну, не совсем. Можно ли назвать *мужчиной* обугленный труп?

– Почему бы и нет? Почему бы не совокупляться с обугленным трупом? – подумал я, придя в бешенство, но все же сумев сохранить бесстрастный голос:

– А эта женщина – кто она?

– Какая-то второсортная певица, либо танцовщица – не знаю. Вся эта история довольно грязная. Взломали замок, залезли, барабанили на рояле, словом – резвились дня два. Я сначала подумала: Гена с друзьями. Мне еще показалось странным, что он не заглянул к нам... Потом я услышала пальбу. Ночью загорелась дача.

– Ну да, – сказал я, – они палили в мишень, из мелкашки.

И тут меня пошатнуло, будто бы кто-то невидимый толкнул меня в грудь. *Из мелкашки ли?* Я отчетливо вспомнил мишень. Отверстия были от крупнокалиберных пуль, выпущенных из *настоящего* оружия. Целая улица глупостей, которую я так тщательно выстроил за последние полчаса, стремительно закружилась возле меня, навроде *Penny Lane*.

– Я уж не знаю, из чего они палили и зачем, – сказал Жанна, не заметив моего кружения. – Помню, я считала. Выстрелов было ровно семь. Не правда ли, это что-то мистическое?

– Несомненно, – сказал я с ненавистью. – Могу ли я от вас позвонить?

Она поколебалась, все еще предполагая во мне бандита.

– Пройдемте, – наконец решилась она.

Я запер сарай, положил ключ на место, стараясь сделать это правильно, небрежно. Пальцы мои дрожали.

Мы прошли сквозь внутреннюю калитку, соединяющую два соседних участка, и поднялись по ступенькам дома Жанны.

Увидев через мое плечо, как я кручу телефонный диск, она усмехнулась:

– Вы набираете не то. Это старый номер. Они ведь разменялись с родителями, разве вы не знали?

– Меня давно не было в Москве.

– Это заметно. Ваш черноморский загар...

Я недослушал, поскольку произошло соединение, и в трубке возник чей-то неприятный голос. Я спросил Гену.

– Я тебя слушаю, – произнес тот же голос. – Как раз сегодня вспоминал тебя, хотя, честно говоря... Никак не ожидал твоего звонка.

Это оказался Хомяк, и он сразу узнал меня. Он не стал скрывать своего удивления.

– Нам надо увидеться, – без предисловий сказал я.

Он помолчал. Где-то в глубине его квартиры тихо звучал *Because* Леннона. Это привело меня в ярость, вызвало каскад воспоминаний: именно под этот аккомпанемент я бы с величайшим удовольствием раздробил череп моему бывшему другу.

– Хорошо, – холодно произнес он. – Приезжай. Записывай адрес. Только... Через два часа мне надо будет свалить по делу.

Его голос неузнаваемо изменился за эти годы, в чем не было бы ничего удивительного, если бы голос не показался мне знакомым, причем как-то странно, навязчиво знакомым, вроде бормотания радиоточки. Это был голос какого-то *другого человека*, которого я, несомненно, знал, но никак не мог вспомнить. Я ощутил легкий укол страха, как всегда бывает, если сталкиваешься с чем-то необъяснимым.

Положив трубку, я быстро двинулся к выходу.

– Не хотите ли чаю? – предложила Жанна.

– Спасибо, – возразил я, продолжая свой путь.

– Сейчас перерыв в электричках. К чему вам мерзнуть на платформе?

Она сделала шаг ко мне. Ее лицо стало кокетливым, еще более гадким. Похоже, она боялась упустить случай, которых в ее жизни осталось уже немного. Ее слишком уж пышный бюст показался мне подозрительным, и я понял, что там, под накладной упругостью лифчика болтаются жалкие старческие груди.

– Я возьму такси, – сказал я.

Ее взгляд потух.

– Дорогое удовольствие по нынешним временам.

– Скорее, дорогая необходимость.

– Как и этот коньяк, – она кивнула на стеклянную дверцу буфета, впрочем, уже без всякой надежды.

– Поверьте мне, – сказал я, – это очень дешевый коньяк.

Выходя, я еще раз посмотрел в сторону дачи. Развалины, руины... Жанна стояла в дверях и, вероятно, смотрела мне вслед. Я не оглянулся. Оглядываясь, мы видим лишь руины.

* * *

По пути на трассу я попытался переварить эту случайную встречу. Почему я с такой легкостью расписался в собственном безумии? Только что передо мной красовалась Жанна, о которой я мог бы сказать то же самое. Ведь это не я забыл ее и как бы впервые увидел, а она – меня, хотя мы знали друг друга около двадцати лет, и она не могла не помнить – если уж я так сильно изменился – моего имени, фамилии... Тогда кто же из нас – сумасшедший?

Начнем по порядку. Матушка всегда была больна, она действительно могла забыть, что переставила мебель... Мара и компьютер. Почему Мара была всю жизнь лучшей и единственной подругой матери – не потому ли, что их связывало родство диагнозов? И станет ли нормальный человек – Хомяк или кто-то из его родственников – тщательно подгоняя, высунув от усердия язык, вставлять в рамку вместо одной репродукции Жана Милле – другую, причем, того же бездарного автора? Теперь – Полина. Она, несомненно, была в гостях у матери уже *после* перестановки, и ее вздорная, пустая башка вполне могла принять новое за старое.

Выходит, что безумие сидит не внутри меня, а свободно разгуливает снаружи, и я просто-напросто принял чужое безумие за свое. *Будь я действительно сумасшедшим, то, прежде всего, обвинил бы в сумасшествии окружающих.*

Это надо было проверить как можно скорее, и случай не заставил себя ждать. Первая же машина, которой я сделал стоп, затормозила, приветливо подмигнув. За рулем была женщина. На мой вопрос о плате она снисходительно рассмеялась: ей не нужны были мои гроши, если существовал некто, способный ее содержать, или же она *зарабатывала* сама, prostituiруя – все это не волновало меня, равно как и действительность со своими новыми деталями – придорожными ларьками, яркими вывесками, какими-то многоступенчатыми недостроенными виллами – детская книга, которая зашелестела снаружи, сливаясь в единый огненный поток, едва мы понеслись по шоссе. *Baby, you can drive my car...*

– Послушайте, любезнейшая, не знаю вашего имени... – начал я.

– Агния, – представилась эта пародия на кинозвезду.

– Роман, – ответно представился я.

– Бульварный? – пошутила она.

– Не совсем. На первый взгляд, оно конечно, того: сюжет и все такое прочее, но если приглядеться... – я вдруг отчетливо вспомнил свое вчерашнее сентиментальное путешествие бульварным кольцом, когда я мысленно здоровался со всеми памятниками на своем пути...

– Вы понимаете, Агния, – сказал я с мягким акцентом, – я приезжий, из Киевской области, и плохо знаю ваш гарный город. Скажите пожалуйста, где у вас в Москве памятник, к примеру, моему соотечественнику, Николаю Василичу Гоголю?

- На Гоголевском бульваре, естественно.
- Да уж, что может быть естественней... А памятник Климент Аркадичу Тимирязеву?
- Кажется, у Никитских ворот.

Агния коротко глянула на меня, в тот миг, как я так же коротко глянул на встречный КАМАЗ. Векторы скорости, разумеется, складываются, а за рулем сидит сумасшедшая, спокойно держащая сто десять по зимней трассе. Безумие выразалось, конечно, не в скорости – в конце концов, это могла быть какая-нибудь матерая гонщица автораллей, шумахерша, – а в том, что она сказала о памятниках.

Итак, они все сошли с ума, пока меня не было с ними. Или же я, излучая какую-то неизвестную энергию, притягиваю исключительно безумцев, как бы, двигаясь по смешанному лесу, иду от березы к березе... Но это уже из области фантастики, хотя в первой версии нет ничего фантастического – вдруг это какой-то вирус или что-то еще. Ведь взялся же откуда-то из Африки... Господи, как трудно в моем горле этому слову – *Африка*...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.